

в начале 30-х годов представляла бурлящий котел идей и страстей. Она отдала дань времени, когда основным содержанием деятельности гуманитарных научных учреждений и высших учебных заведений являлись обсуждения кардинальных проблем исторического развития, диспуты, дискуссии, нередко носившие очень острый политический характер»¹. Среди тех, кто «варился» в этом котле, было немало впоследствии известных историков и археологов. Среди них был и Иван Иванович Смирнов, которого я знал, так как, будучи студентом университета, читал его книгу о восстании Болотникова, видел в те дни, когда он приезжал на защиту диссертаций и дипломных работ, а позже — как младший коллега в ЛОИИ. На мою долю выпало идти в университет и сообщить там печальную весть о смерти Ивана Ивановича. Почти подойдя к дверям исторического факультета, я встретил В. В., который шел мне навстречу вместе с кем-то из коллег. Помню, как в ответ на мои слова о случившемся, В. В. остановился и сказал: «Ивана не стало. Иван умер». Я почувствовал, что у В. В. многое связано с И. И. Смирновым, что его смерть большая для него потеря. Рассказывал В. В. и о лицах, о которых мне приходилось только слышать. Так, он не раз вспоминал М. М. Цвибака, как историка, у которого всегда было много идей, которые он разбрасывал, не будучи особенно озабочен тем, чтобы самому их четко обобщить и сформулировать.

Такого рода детали, характеризовавшие особенности научной жизни в исторических учреждениях Ленинграда, не раз мелькали в разговорах, которые приходилось мне вести с В. В. В моей памяти В. В. остался очень интересным и вместе с тем сложным Человеком. Невольно думаю, что многое из того, что он видел и знал, навсегда ушло вместе с ним. В моей же жизни он оказался одним из тех, кто не раз помог мне и в житейских ситуациях, и в моих занятиях историей.

[Октябрь 2008 г.]

В. В. Мавродин
Санкт-Петербург

Из несохранившегося архива Владимира Васильевича Мавродина

Мой отец получал очень много писем, открыток и телеграмм, но рассказать о них трудно. И вот почему. Всю корреспонденцию он хранил долго — месяцами и даже годами, потом собирал, укладывал стопкой, перевязывал, всегда только рыболовной леской, и увозил на дачу. Там очень внимательно перечитывал каждое, а потом сжигал. Почему он так делал, я не знаю, и никогда об этом его не спрашивал, можно лишь предполагать. Но ни в коем случае в этом нельзя усматривать пренебрежения к людям. Полагаю, что со мною согласятся все, кто с ним встречался хотя бы мимолетно, не говоря уже о его коллегах и учениках.

Писем отец мне не читал, но бывали исключения. В. С. Пикуль обратился к нему с просьбой написать предисловие к роману «Слово и дело». Отец написал

¹ Там же. С. 39.

предисловие¹ за один день и попросил меня напечатать и отправить его В. Пикулю. Прочитав предисловие, я сказал отцу: «Ну, что же ты наделал!?». Он изумленно спросил: «А что, плохое предисловие?». Я ничего ответить на его вопрос не мог. Роман В. Пикуля я не читал, но почувствовал, что после такого предисловия его можно не читать. Каково же было мое удивление словам В. Пикуля, содержащимся в письме к отцу. А написано там было буквально следующее: «Дорогой Владимир Васильевич! Счастлив, что под одной обложкой поместятся наши имена. Но после Вашего предисловия мой роман можно уже и не читать». Письмо это тоже не сохранилось, но первые строки я запомнил, почему и позволил себе такую цитату.

Отец обладал уникальным даром популяризации. Не раз, когда к нему обращались как к специалисту по Петру I, отец отвечал: «Я не специалист по Петру I. Я его популяризатор».

Одно письмо мне всё-таки удалось сберечь. К стыду своему добавлю. В этом письме Михаила Тимофеевича Калашникова, адресованном отцу, речь идет об автореферате моей диссертации. Я взял это письмо себе и сохранил. Вот его полный текст:

«Уважаемый Владимир Васильевич!

Получил автореферат Вашего сына, из которого видно, что Валентин добросовестно поработал над весьма сложной темой о перевооружении русской армии и флота стрелковым оружием.

В историческом аспекте, подробно проанализирован интереснейший период конструктивного совершенствования ручного огнестрельного оружия.

После четырех столетий медленного, постепенного совершенствования его отдельных элементов (замки, технология изготовления стволов и др.) наступает период бурного развития конструкторской мысли, поиска новых принципов и радикальной ломки традиционного подхода к решению задач, сравнимый разве с этапом, наступившим после первой мировой войны в области автоматического оружия (подчеркнуто мною. — В. М.).

Совершенно правильно отражена историческая необходимость этого процесса, обусловленная развитием капиталистических отношений в мировой экономике, отсталость царской России, вызвавшей эту «Ружейную драму» даже вопреки уровню передовой технической мысли.

Привлечение ранее не использованных архивных материалов позволило внести уточнения и исправления в некоторые дореволюционные взгляды на уровень совершенства образцов стрелкового оружия русской армии периода Крымской войны.

Надеюсь, что ученые университета им. А. А. Жданова по достоинству оценят этот труд.

Желаю Валентину Владимировичу успешной защиты и дальнейшей плодотворной работы.

С добрым приветом и праздничными поздравлениями конструктор М. Калашников. — Герой Социалистического труда, доктор технических наук.

25. X. 73 г.»

¹ Мавродин В. В. Исторический роман из эпохи дворцовых переворотов // Пикуль В. Слово и дело. Роман-хроника в 2-х кн. / Кн. 1. Царица пресрашного зраку. [Л.:] Лениздат, 1974. С. 5–34.

Ниже — подпись Михаила Тимофеевича Калашникова.

Почерк М. Т. Калашникова я хорошо знаю. Подпись сделана его рукой. Полагаю, что и весь текст написан им самим (письмо напечатано), о чем говорит подчеркнутый мною текст. В таком аспекте проблему мог увидеть именно конструктор.

[2 ноября 2008 г.]

Н. Н. Юсова, С. Л. Юсов
Киев

Письма Владимира Васильевича Мавродина: предварительные заметки к реконструкции эпистолярного наследия

Среди историков, живших и творивших в советскую эпоху, есть немало личностей, чей пример служения науки, стиль жизни и поведение в обществе вызывают несомненное уважение. Очевидно, что они, по крайней мере, не могут быть просто забыты. Второй минимум состоит в том, что научная объективность и чувство справедливости требует противостоять репрезентации наследия советских историков и их личностей в недостоверном ракурсе. Последнее, к сожалению, приходится довольно часто наблюдать в историографии, когда в силу различных причин, субъективных (прежде всего!) и объективных по характеру, подаются недостоверно не только концепции ученых советского периода, но и фигуры самих исследователей, а их взаимоотношения с коллегами предстают в искаженном виде. И такая тенденция достаточно ощутимо сказывается на формировании негативных и нивелирующих стереотипов в сознании определенных сегментов общества по отношению как к прошлому, так и, в не малой степени, к настоящему положению в историописании.

В настоящее время представляется бесспорным положение о том, что в умах академических и вузовских ученых СССР зарождались и формировались те или иные основные концепты, бравшиеся на вооружение советской идеологией. Деятельность представителей научной среды в этом отношении проходила зачастую отнюдь «не в безоблачных» условиях: учитывая как реалии собственно тоталитарной системы, так и разнообразные перипетии повседневной жизни. Оба эти фактора накладывались на процесс творчества (в том числе — научного) советской интеллигенции. Поэтому, при исследовании данной тематики приходится осторожно подходить к вынесению каких-либо оценочных суждений, соотносить их с реальностью, памятуя об амбивалентности воздействия названных сомножителей. Кроме того, следует помнить о приговоре французского историка М. Ферро в отношении историознания, когда истории отведена соподчиненная роль идеологии, как ее «орудия», а научная «одежда» и методология исторической дисциплины служат в качестве своеобразного «фигового листка» идеологии¹.